

1

Самокаты, стоявшие возле дома, выглядели одинаковыми; на многих висели бирки с именами владельцев. На одной бирке значилось: «Профессор Курносов». По утрам хозяин самоката сбегал по лестнице, подъездная дверь громко хлопала у него за спиной — он почти опаздывал в университет, и его радовало, что сейчас надо будет лететь так, что в ушах станет петь ветер. Самокат был простой, без мотора, Курносову нравилось отталкиваться и набирать скорость. Колёса катили очень мягко, ни камешка, ни щербинки не было на дороге. Он то и дело встряхивал головой — густейшие патлы цвета соломы падали на лицо.

Со стороны его можно было принять за студента. Но все горожане знали: вон едет профессор Курносов! А то, что не окликали его, не кричали из окон: «Здравствуйте, профессор Курносов!» — так это потому, что в городе жили воспитанные, деликатные люди. Они думали: «Зачем отвлекать профессора? Вдруг он работает над новым открытием?» Поэтому здоровались

с Курносовым только те, кто попадался ему навстречу. Он поспешно кивал, удивляясь: «Откуда они все знают меня? Как неудобно, что я не помню! Должно быть, мы вместе катались на самокатах. Или занимались в одной группе в бассейне».

Потом, правда, он вспоминал: «Да они же считают, что я сделал открытие! Поэтому я здесь у них знаменитость... Но ведь, когда я не на лекции, меня невозможно узнать!»

Это он так думал.

В университете Курносов солиднел на глазах. Он боялся, что студенты не станут его слушать, если он будет выглядеть как они. К счастью, он умел делаться старше, когда было нужно. Он зачёсывал волосы назад — и в них становилась видна проседь, а на лице проявлялись морщины. «Достаточно ли я старьй? — переживал Курносов. — Может, надо было пиджак надеть? Но в пиджаке неудобно на самокате, да и потеешь в нём».

Волнуясь, он поднимался на кафедру. Двести пар глаз смотрели на него, двести человек сидели не шевелясь — они готовы были принять безоговорочно, впитать в себя любое его слово. Ему казалось, что его слушали бы сколько угодно. Две, три, пять лекций подряд. Но он не знал, о чём говорить так долго. Цифры, формулы, графики, системы уравнений есть в новых учебниках, он там всё описал очень просто — так, что даже не очень способный студент поймёт. Курносову

пришлось спорить с редакторами, с издателями своих книг, доказывать: «Если мы можем сказать понятней, зачем напускать тумана?» Но всем людям сразу не угодишь, и он уже слышал много раз, что всё поразительно просто. Так, как не бывает. И он в ответ разводит руками: мол, да, законы совсем простые, но вот получилось же, сами видите — всё работает...

Когда он знает, что прав, а спорящие с ним не правы, он чувствует перед ними вину. Его открытие сделало счастливыми многих людей, так говорят. Мол, каждый может теперь найти себя. Стало легко выбрать, где тебе будет интересно — каждый день с утра до ночи — и где ты будешь полезен. Лектору боязно, что кто-то услышит в его словах напоминание о его грандиозных заслугах — и дальше, ещё хуже, вопрос, обращённый к каждому по отдельности: а что было бы с тобой без меня? И с тобой, вон ты, весь в веснушках? И ты, в синей рубашке? Но лектор отгоняет от себя свой страх и говорит себе: «Кто думает сейчас о том, что было раньше? Кто помоложе, особенно дети переселенцев, чуть что говорят старшим: да раньше, может, вообще при лучинах сидели!»

Даже его внучатый племянник Саша, двенадцати лет, отмахивается так от прапрабабки, если она допекает его попреками: «Вы при лучинах росли!»

Курносову смешно: какие лучины? В зале у его бабушки была люстра с висюльками чуть ли не до пола, а в кухне — голая незащищённая лампочка. Если долго

смотреть на раскалённую нитку внутри, то потом только её и видишь перед глазами — и страшно, что теперь так будет всегда.

Профессор Курносов читает у первокурсников общую физику. Их программа совпадает с тем, что он сам учил в институте, — расхождения начинались позже, и к выпуску их становилось всё больше и больше. Конечно, Курносов успел изучить то, чего не проходили в его студенческие годы, но он бы чувствовал себя неуверенно, если бы пришлось учить старших тому, что он сам недавно узнал. Разве что — если это его собственное открытие.

На лекциях у первокурсников ему бывают нужны и лампочки, и лучины. Он знает: первокурсникам нравятся его лекции — говорят, мол, и не заметишь, как время прошло, а вот и звонок уже! А старшие им отвечают: это что ещё, это так, предисловие! Вы знаете ведь, это тот самый Курносов! Он не похож на свои портреты, он там везде старенький, но он — это он и есть!

— Здравствуйте, друзья! — мягко говорит Курносов своим старшекурсникам.

А дальше надо объявить тему лекции. Ему самому странно, как сложно по-научному называется то, что он открыл. Но за название проголосовали в Сонме учёных, и он должен был согласиться. Что делать — есть стройная система имён, по которой его коллеги сразу поймут, о чём речь. Курносов боялся оказаться непонятым.

И теперь он, как будто извиняясь перед студентами, произносит длинное-предлинное название того, что открыл, и добавляет:

— Мы с вами рассмотрим, как вышеназванное явление способно влиять на разные области нашей жизни.

Ему самому удивительно думать, как много этих областей жизни. И он, видно, не про все знает. Вчера он слышал, как его бабушка (да, именно его бабушка, баба Валя) бросила внуку его сестры Люси, получается — своему праправнуку Саше: «Если бы деда Костя не сделал открытие, где бы сейчас были мы все?!» — и в голосе её слышалась укоризна. Должно быть, Саша, по её мнению, в чём-то не дотягивал до своего двоюродного деда. Точнее, до того, кем тот был в двенадцать лет. Или ещё раньше, в десять! Профессор машинально спрашивает себя: «А интересно, где бы все были?» Про бабушку-то понятно: люди раньше не доживали до её лет. А если вдруг доживали, про них писали в газетах, а они сами плохо понимали, чем прославились и чему все удивляются, потому что были совсем старенькими.

А что было бы, например, с внучатым племянником Сашей? А с ним самим? Кто бы сказал ему в Сашинем возрасте: «Ты станешь известным, ты ведь такое выдумаешь!»

«И что, правда это я?» — спрашивает профессор кого-то.



Широко раскрытые детские глаза смотрят со старого продублённого лица. Десятилетний Курносов сквозь маску взрослого оглядывает ступенчатую аудиторию: до самого потолка лица, лица. Он теряется: «Взрослые... И я взрослый? Точно?» Он вспоминает свой институт — и машинально ищет глазами кого-нибудь из однокурсников. И вдруг спохватывается: «Откуда им быть? Здесь же все молодые! А я — да, я уже профессор...»

Человек может помнить одновременно о разных вещах, и Курносов думает о своём открытии и о том, как понятней всего рассказать о нём, но в то же время он думает о своей бабушке: «Ну зачем, зачем она повторяла, что я не стану никем и умру в тюрьме? Здесь и тюрьмы-то нет ни одной... Заметила она или нет, что здесь никаких тюрем?» Он знал, что никогда не спросит об этом бабушку. Никогда не заговорит с ней о том, что было давным-давно.

2

Папа Курносова был в тюрьме, Курносов его не помнил, и дом, где жил с папой и мамой, не помнил тоже. Бабу Валу в своём детстве он помнил смутно — была ли она ещё моложавой или уже старенькой и только после помолодела и что она делала целые дни, — а лучше всего у него отпечаталось в голове, как мама повторяла: «Вот переедем от бабы Вали и будем сами

себе хозяева, мы с тобой! Скоро, скоро будет готов наш новый дом!» — и Курносов запомнил уже новый дом, неотличимый от других, соседних домов, панельную девятиэтажку, где они с мамой поселились на четвёртом этаже.

Мама по первым временам кружилась то в большой комнате, то в маленькой и кричала: «Костя, я счастливая! Счастли-и-ивая!» Это Курносова звали так — Костя. Он потом в маленькой комнате за уроками вспоминал, как мама вот здесь, у его письменного стола, кружилась. И сейчас иногда ему приходит на память, как он тогда вспоминал и сожалел в детстве о времени, когда мама была только его, когда говорила ему «мы с тобой».

Не знал он, когда они с мамой въехали в новый дом, что всё скоро изменится. А всё точно ведь изменилось. Мама потом только об этом и говорила.

— Ничего не купишь! Ничего в магазинах не стало! — повторяла она.

И Косте было странно: конечно же, всё изменилось! Он и не заметил, как в доме с ними стал жить дядя Гена, в коридоре стояли огромные чёрные ботинки и отдельно лежали стянутые с ног носки, и к маме в комнату нельзя было зайти просто так, надо было всегда спрашивать: «Можно?» А после родилась крикливая Люся, и она заняла сразу же весь дом, хотя была маленькой-маленькой. Мама перестала говорить Косте «мы с тобой», и Костя иногда не верил себе: а она правда



раньше так говорила? Маму спросить было нельзя, она стала совсем другой.

Но если послушать маму, то всё это совсем ничего не значило. А самым главным для неё было то, что в магазинах теперь продавалось меньше еды, и одежды, и всего подряд. Костя слышал, что в стране большой кризис, но не понимал, что это значит. Кризис делают люди — или это как дождь, как сильный ветер? Спрашивать было бесполезно, взрослые только сердились.

Мама по утрам будила его, и он должен был поскорей выскочить с бидоном: во двор приезжал молочный фургон. Молочника ждали чьи-то бабушки, и девчонки из дома, и кто-то из Костиных друзей — Стасик или Шура, а может, Валик, а бывало — все трое, всех присылали родители, и Косте стоять в очереди не было скучно и даже не хотелось потом подниматься домой. Там мама брала у него бидон и говорила без выражения:

— А, пришёл.

И могла просто забрать молоко и уйти в кухню.

А могла начать спрашивать:

— Ты видел себя в зеркале? Ты посмотри, посмотри на себя!

Он смотрел, думал: «Ну, это я...» И надо было голову опустить, чтобы мама не видела: он не понял, отчего она сердится. Смотреть вниз — тогда мама могла и не начать кричать на него. Но как-то она вслед за ним глянула ему на ноги, а он ещё не успел разуться.

Мама сразу начала причитать плачущим голосом:
— Ты думал, когда в футбол играл? Ты о чём думал? Сейчас же не купишь ничего, не купишь! Я думала, ты в этих туфлях в школу пойдёшь, в сентябре, пока тепло будет, походишь в них, думала...

Дядя Гена был на работе — он допоздна работал, и Костя удивлялся, что, оказывается, и это может быть плохо. Косте не нравилось, когда отчим дома, потому что это был его с мамой дом. Но он припоминал, что при отчине мама никогда не говорит так, точно сейчас заплачет. Бывает, только начнёт и спохватится, замолчит, прислушается: слышал он её или нет? Может же быть так, что телевизор говорит громко и дядя Гена её не слышал?

Сама понимает, что вот такой срывающийся тонкий голос никому не понравится! А с ним, с Костей, выходит, можно так говорить. Если бы Костя не боялся рассердить её, он бы спросил: «Ты так кричишь потому, что мы — это „мы с тобой“?»

Иногда Костя думал про то, что и у мамы тоже есть мама, и, может, она тоже говорила ей «мы с тобой», но теперь мама давно не видится со своей мамой, баб Валею, а Костя вообще не помнит, какая она. В поздравительных открытках она пишет, чтоб Костя учился хорошо, не баловался на уроках, а маме наказывает в тех же открытках, чтобы за неё людям не было стыдно, — и, когда Костя идёт с мамой куда-нибудь,

она одёргивает платье и поправляет ему воротник рубашки, точно все люди вокруг смотрят за ними или она сама видит себя с Костей в зеркале.

Они входят в большой магазин — и мама первым делом говорит:

— И зеркал не осталось!

А Костя не понимает, при чём тут зеркала. Они же ботинки пришли покупать, зачем на ботинки смотреть в зеркало?

Костя увидел ботинки издалека. Так, что и не поймаешь, старые они или ещё новые.

— Мама, вот они! — закричал он и побежал вперёд, в тот отдел, где горел свет, и висела одежда, и ещё видны были какие-то сложенные вещи. — Я нашёл их!

Ботинки стояли на полке и улыбались ему. Разношенные, принявшие форму чьих-то чужих ног — а ноги возьми и вырасти, вот ботинки и отнесли в магазин. Должно быть, думали: вдруг кто-то купит? Может, очень деньги нужны, даже эти копейки. Ботинки целые, но кожа пошла морщинками, будто трещинками, и в этих трещинках Костя видит улыбку.

Мама берёт с полки ботинки, вертит их, ставит вдвоём на одну ладонь — они связаны вместе шнурками. Круглые тупые носки соприкоснулись, точно ботинки о чём-то секретничают. Один говорит другому: «Бежим!» — и вместе они норовят соскользнуть у мамы с ладони, перевесить носками, а может,



пятками, уж как получится! В таких, должно быть, хорошо бегать и прыгать.

Мама как будто взвешивает на ладони ботинки. И говорит:

— Пошли походим ещё. А если не найдём ничего, я тебе это куплю!

Ему говорит, а сама оглядывается на какую-то бабушку. Вот, мол, как трудно во время кризиса искать сыну ботинки. Пустой магазин! Неужто в самом деле придётся покупать вот это?

А бабушка вдруг примет приглашение мамы и вступит в разговор. Бабушки всегда так, думает Костя: услышат, что кто-то рядом говорит как будто не с ними, но нарочно так, чтобы им было слышно, — и обязательно отзовутся. Сейчас бабушка скажет: «А что, хорошие ботиночки! Ношенные, но крепкие!» — и Костя с мамой больше не пойдут ничего искать.

Но бабушка точно не слышит их. А может, и впрямь не слышит. Мама смотрит на неё растерянно и ставит ботинки на полку. «Хоть бы мы больше ничего не нашли», — думает Костя. Он понял: по-маминому, эти ботинки плохие, в них будет стыдно. Только если совсем-совсем ничего не найдётся, их можно будет купить.

В магазине, кроме отдела «Комиссионный», ничего не работает. Зато по соседству, в подвальчике, нашли твёрдые, лаковые, без каблочки, с плоской, точно вырезанной из фанеры подошвой. Мама сказала:

— Вот тебе и ботиночки. Новые, нарядные! Береги их!

А как это «береги»? Когда они у тебя на ногах, их разве убережёшь? Это всё время надо было вниз смотреть, на ноги? И тогда подошва бы не отклеилась — у одного на носке, у другого на пятке? Ногам стало мокро, хотя никаких луж не было. Он разувался дома, стягивал прилипшие мокрые носки. Тут мама подошла, схватила его лаковые ботинки — и сразу как закричит:

— Что, что мне делать! Ты должен был думать, должен был совесть иметь! Это же не так, что — пошёл и купил! Ты помнишь, сколько мы их искали?! Где я тебе сейчас куплю другие ботинки?!

А сама бросает быстрые взгляды на дядю Гену, точно спрашивает его: «Ты слышишь, слышишь, как я кричу на Костю? Он так плохо поступил, что я и не стесняюсь тебя — вот как я могу кричать!» Дядя Гена морщится — у него, может, уши уже болят.

Наконец он неуверенно, медленно произнёс:

— Ну это же, наверно, можно подклеить?

Мамины глаза тут же сверкнули — в них вроде мелькнула радость, но Костя не был уверен. И сразу же мама стала выговаривать Косте:

— Видишь, дядя Гена теперь будет чинить твои ботинки!

Дядя Гена и впрямь пошёл в коридор, взял осторожно один Костин ботинок и велел маме обтереть

его мокрой тряпкой, а после откуда-то появился резко пахнущий клей.

— Смотри, смотри! Дядя Гена устал, он, считай, полторы смены простоял на конвейере, он отдыхать хочет! Приятно ему, что ли, твои ботинки чинить? — повторяла и повторяла мама.

Дядя Гена выдавливал клей на края подошвы, не поднимая головы на Костю и маму. У него было невероятно покорное, усталое выражение. Должно быть, если бы его сейчас стали бить или щипать или мама бы кричала ему про то, как он устал, уже в самое ухо, его лицо бы не изменилось. Точно он уже заранее чувствовал себя так, будто его бьют или дают щелбаны, а сдачи давать нельзя.

Костя едва сдерживался, чтобы не морщиться, глядя на него. Если бы дядя Гена не взялся клеить ему ботинки, то и мама бы не твердила: «Смотри, смотри!» Зачем нужен такой безответный и тихий дядя Гена, из-за которого мама всегда кричит? Костя однажды спросил об этом у мамы, и та опять разозлилась:

— Бессовестный! А кто покупал тебе халву, и клюшку, и самолёт с батарейками, кто?

И Костя думал: ну да, дядя Гена покупал! Но лучше бы не было никакой халвы и этого самолёта, который самому всё равно брать нельзя, но и дяди Гены бы не было, и этой малявки, из-за которой ему всё время теперь повторяют, что он не один. Их Люсенька то спит



в деревянной кроватке у него в комнате (мама теперь говорит: «В детской»), то орёт пронзительно, на одном звуке: «А-а-а!» — и, если случайно уронишь книжку или хотя бы пройдёшь не на цыпочках, она может проснуться и заполнить дом своим «а-а-а!». Мама вбежит в комнату и бросит тебе: «Она бы ещё час могла спать!»

Зато сама мама может шуметь сколько захочет. И если Люся проснётся сейчас от её крика — то всё равно окажется, что виноват Костя, ведь это он рассердил маму и ей пришлось кричать на него.

Вот бы дядя Гена и Люся куда-нибудь исчезли, совсем.

Когда не помнишь про кого-то, его как будто и нет, а Костя, когда выходит на улицу, быстро забывает про дядю Гену и Люсю. Хотя мама каждый день повторяет: «Думай про то, что ты у меня теперь не один!»

«А как жить тогда, зачем, если всегда про них помнить?» — спрашивает он сам себя. На улице же никто не говорит с ним про дядю Гену и Люсю! Если совсем забыть про них, то можно представить, что дома тебя ждёт одна мама — и у вас всё как раньше.

В ботинках с плоской тонкой подошвой бегать неудобно, пятки об асфальт так и стучают, но он сам виноват, что изорвал сандалии, не растянул их на всё лето. Мама так говорит: «Не растянул», — хотя ремешки были уже растянутые. Кеды у него целые, но из них он вырос, а новые, побольше, они с мамой нигде не нашли.

Только лаковые ботинки. Мама твердит: «Не забывай, что ты в них в школу пойдёшь. Уж не изорви их за эту неделю, уж дотерпи!»

Что в школу через неделю — тоже помнить надо. Школа стоит обманчиво тихая, как мама, готовая закричать на тебя, если окажется, что ты что-то сделал не так. Школа затаилась до сентября — все три этажа светятся жёлтой краской, все окна блестят. Учительница биологии с девочками высаживает на центральную клумбу оранжевые цветы. На площадке ярко-белым расчерчено, где какому классу вставать на линейку. И не верится, что здесь — и здесь — поместится целый класс. Но пока ещё можно бегать где хочешь.

За школой, в одном из дворов, у детской площадки растёт большое старое дерево, кряжистое, кора в трещинах, листья шумят высоко над землёй. Надо быть кошкой, чтобы забраться в густейшую невероятную крону. А человек не сможет залезть — внизу нет никаких веток. Валик сказал:

— Я видел, как здесь птицы кружились. Наверно, у них среди веток гнездо.

— И птенчики? — спросил Костя.

И тут же подумал: а что удивляться? Там, среди листьев, может прятаться сколько угодно гнёзд! Дерево представлялось ему с земли целым городом с ветками-улицами, и каждая вела непонятно куда. На тех улицах кто только не жил — и птицы, и гусеницы, и жуки.

Но как это всё увидишь? Должно быть, если попробовать залезть, надо ощупывать ствол пальцами — и цепляться за любые неровности в коре, и подтягиваться на руках. А коленками надо будет обнять ствол и держаться — но он слишком широкий, не обхватишь... Наверное, со стороны это бы выглядело очень смешно!

— Какие птенчики? — объяснял рассудительный Стасик. — Они бывают в начале лета. А сейчас они выросли и улетели. Птицам уже скоро собираться на юг, а как бы они смогли, с птенчиками?

Костя ощутил острую грусть оттого, что лето кончается. Вот и птенцов он не успел увидеть. Должно быть, среди веток осталось пустое гнездо. Но снизу ничего было не разглядеть среди зелени.

— А давайте Костю посадим, пусть он на дерево залезет! — предложил вдруг Валик.

— Давайте! — сказали Стасик и Шура.

Костя не верил своим ушам.

— Посмотришь, что там, а потом нам расскажешь, что видел! — ободряюще сказал Валик.

А Стасик добавил:

— Может, увидишь старое гнездо. Ты тогда его с собой заberi!

Друзья со двора были старше Кости и выше ростом. Но дома он привык, что уже большой, потому что дома Люся была. Он не представлял, как это его кто-то станет поднимать. Но мальчики вместе подхватили его со спины. Он старался побыстрее карабкаться по стволу,

пока сзади его поддерживали и подталкивали вверх. Вот уже и большая ветка, а следом ещё одна, и наконец можно было надёжно поставить ногу, опереться — а второй ногой искать новую опору, повыше, и руками искать, за что можешь схватиться и подтянуться. Костя шёл вверх по толстым ветвям, пробираясь среди тонких веточек, среди молодой густой поросли, и эта поросль хватала его за футболку и норовила царапнуть лицо. Наверху, оказывается, был ветер, и каждый листик вокруг шевелился. Все вместе они шумели, как будто несколько, много живых существ — невидимых — говорили одновременно рядом с ним.

Костя оказался внутри этого шума и не сразу понял, что с земли его уж в который раз окликают по имени и спрашивают:

— Что молчишь?

— Они громкие! — торопливо сказал он о том, что его больше всего удивило.

Костя был худой, но он с трудом пролезал между двумя близко растущими ветвями, хватался за третью, подтягивался на руках. Где же гнездо? По той стороне дерева он продвигается или не по той? Где-то рядом подавали голоса птицы, и, кажется, он слышал птенчиков. У самого уха их мама, невидимая, издала тревожный крик: «Чужак! Чужак!»

Но гнездо оказалось пустым, как и говорил Стасик. Все давно улетели из него. Гнездо лежало прямо перед

его лицом, в развилке. Он долго разглядывал его, не решаясь дотронуться. Снизу опять кричали. Что-то напугало друзей, к нему долетало:

— Давай вниз!

— Костя, где ты там? Спускайся!

И тогда он осторожно поднял гнездо, спрятал его под футболку, а футболку заправил в штаны.

Ближе к земле, там, где у дерева не было веток, он не знал, как слезать, кора обдирала ноги под брюками, и, когда он почувствовал под ногами землю, Валик воскликнул:

— У тебя хвост!

И Стасик спросил:

— Что тебе будет? — потому что слышал, как мама однажды кричала на Костю.

Сзади в штанах оказалась дыра — и когда только она появилась? Клочок материи, оторванный не до конца, свисал узким треугольником. И правда, было похоже на хвост.

Мама спросила дома чуть растерянно:

— Где ты нашёл дерево, на которое можно влезть?

И Костя подумал: и правда, у нас, видно, только одно такое дерево на весь район! И он улыбнулся. Вспомнил, как они с мамой ходили смотреть их новый дом, стоявший ещё без жильцов, а на лестнице им встречались женщины в пёстрых от краски рубашках и штанах. Женщины гулко перекивались, и казалось, их

голоса скакали по лестнице вверх-вниз. И мама тоже прыгала на ступеньках и повторяла Косте: «Совсем немного — и у нас будет свой дом!» Окрестные дома тоже стояли пустые, между ними низко над землёй перекатывались облака пыли. Мама говорила: «Ни дерева! Наверно, потом нам всё-таки посадят деревья. Или сами, жильцы, посадим».

И точно, Костя с мамой сажали возле подъезда деревья, и Валик с родителями там был, и Стасик с отцом. Чьи-то папы выкапывали аккуратные ямки. Другие взрослые каждый раз отделяли новый саженец от большой колючей лежащей посреди двора кучи. Дети должны были держать саженец в ямке, пока мама или папа закапывали корни: надо было, чтоб деревце росло ровно. Уже к обеду они всем двором разобрали колючую кучу.

Всё это Костя вспомнил в одну секунду. Или в две секунды. Деревья, посаженные тогда, теперь были высокими — выше Кости и выше мамы. Но всё равно ни на одно ещё нельзя было залезть. И мама, похоже, не знала, что в микрорайоне есть и большое дерево, оно уцелело во время стройки. Надо будет показать его маме...

И тут она воскликнула:

— Что ты улыбаешься?

Как будто не она вместе со всем двором весело сажала деревья.

— Он ещё улыбается! — объявила мама неизвестно кому. Костя стоял перед ней, дядя Гена был на работе, а Люся спала. — Нет, поглядите на него, занесло его на дерево, люди по земле ходят, а он — на дерево! Штаны тебе зашивать кто будет? А это что? Нет, ты посмотри, посмотри, что сделал! Что на меня смотришь?

Костя посмотрел вниз. Левый ботинок, как оказалось, треснул. Лаковую поверхность нельзя было сильно сгибать, а когда наверху ступаешь по веткам, ты разве про это думаешь?

Назавтра он сказал мальчикам, что больше не пойдёт к дереву, нельзя ему, и Валик предложил:

— А пойдёмте тогда в магазин!

В магазине хорошо было бегать. Огромное помещение там и здесь пересекалось пёстрыми лентами, преграждавшими путь, — это чтобы посетители не ходили зря, не пачкали пол, всё равно там дальше ничего не продавалось. Большой магазин строили одновременно со всеми домами и, должно быть, не знали, что скоро все товары будут уместаться в маленьком закутке. Над закутком висело «Комиссионный».

На друзей в дальнем конце зала закричала какая-то женщина, и они помчались от неё, подныривая под лентами. Ей было их не догнать, и её тонкий крик повторяло эхо, оно было всюду. Костя завернул в комиссионный отдел — отчего-то было радостно, что он снова увидит ботинки. Но на полке их уже не было. Продащица спросила у него, что он здесь позабыл, и он —



сам для себя неожиданно бойко — спросил про ботинки. И продавщица сразу поняла, про какие он говорит, и ответила уже мягко, с улыбкой:

— Купили их. Девочке.

Он почувствовал разочарование и тут же сказал себе, что надо радоваться: ботинки-то оказались девчачьи! Значит, хорошо, что мама их не купила ему.

Первого сентября от школы далеко слышалась музыка. Во дворе каждый класс теснился в своём квадрате. Костя знал, что сначала будут что-нибудь говорить директор, и оба завуча, и какие-то гости, потом начнётся концерт — и с задних рядов будет не видно танцующих и не слышно, как читают стихи, и тебе будут наступать на ноги, а в лицо будут лезть чужие цветы. А потом учительница соберёт все букеты и поставит в большое ведро. Дядя Гена вчера принёс для Кости букет. Мама сказала: «Следи, чтоб не помять», — хотя если помнёшь их, то всё равно в общем ведре будет незаметно.

Костя шёл и смотрел вниз. Вот здесь строятся четвёртые классы. И вдруг он увидел... Это были те самые ботинки! Разношенные, лёгкие — он помнил, как они готовы были спрыгнуть с маминой ладони на пол. Ботинки, в которых наверняка много бегали. А теперь они выглядели странными, тяжёлыми на чьих-то тонких ногах.

Над ботинками были коричневые колготки в рубчик, а выше, над коленками, синяя юбка. Костя шёл следом и представлял, что девочка — новенькая в его классе, учительница посадит её с ним. Он только для вида покажет, что недоволен, — совсем чуть-чуть, чтоб девочку не пересадили к кому-то ещё.

В общем движении Костю толкнули так, что он задел девочку, и она обернулась. Её лицо показалось ему неожиданно резким, не подходящим к ботинкам, и юбке, и всей школьной форме, и к бантам. Как будто лицо вырезали с какой-то другой картинки и приклеили наугад на общей фотографии школьной линейки.

Она смотрела на него сердито, хотя понимала, что он не виноват. Он быстро спросил:

— Ты новенькая?

И тут же вспомнил, что, кажется, уже видел её. Помнит он, что ли, всех девочек в своей школе?

Она ответила:

— Кто новенький? Четвёртый год здесь учусь! В «Б»-классе.

Костя учился в «В».

Музыка над площадкой затихла, как будто переводя дух перед большим рывком, — и грянула снова! Пора было становиться к своему классу.

— Я знаю, тебе купили ботинки в комиссионном! — объявил Костя, перекрикивая музыку. — Я видел их!

В лице девочки промелькнул испуг, она быстро огляделась по сторонам. Но никто больше на площадке

не слышал Костиных слов — из-за музыки, — и она сразу же успокоилась и оглядела его с презрением. Бросила ему:

— Тебя не касается! — и, отвернувшись, шагнула в квадрат четвёртого «Б».

На переменах Костя старался увидеть девочку в старых ботинках. Он узнал, что зовут её Катей, но ему ни разу не пришлось назвать её по имени: сталкиваясь с ним, она смотрела так надменно, что он не мог и слова произнести. Костя не понимал, как так. Ему казалось, что они с Катей хорошо знакомы, что у них наверняка много общего, и всё потому, что ей купили его ботинки. Он не объяснил бы, почему ботинки — его, но он так думал.

Пришли холода, и Катя стала ходить в сапогах, а весной у неё на ногах было что-то ещё, наверно, из ботинок она выросла. Костя машинально говорил себе, видя её в толпе девочек: «Вот Катя». А потом перестал её замечать.

3

Про ботинки он вспомнил, только учась в университете. В общежитии студенты читали и передавали друг другу плохо изданную, на скверной бумаге, истрёпанную книгу, написанную так сложно, что Курносов, бывало, засыпал, не осилив и двух абзацев. При этом